

Давно ни дождей, ни снега. Весенняя сушь. Первородная суть человека, всё ещё живая, ухватывающаяся, порой из последних сил, за осмысленность вселенского бытия, вздыхает под дырявой рубашкой цивилизации. Крестьянская душа, забыв о городе, мается затянувшимся вёдром, утрами-вечерами с надеждой смотрит на северо-запад, в пустой давно «мокрый угол», посылающий в наши края непогодь, дожди. Что ещё хуже многовековой опаски будущего недорода?!

Казалось бы чего тебе, то есть мне, горожанину во втором поколении, роду моему, почти обезлюдившему сто лет назад — век прошёл! — беспокоиться из-за благодати яркого тёплого солнышка, голубого безоблачного неба, ярких глаз звёзд, не прикрытых ночной туманной дымкой? Живи да радуйся. Вон и по радио диктор сообщает, что в наших краях стоит прекрасная погода: дождей не будет. И добавляет, страхуясь: хорошего вам настроения при любой погоде. Ан нет, не получается хорошего настроения.

Мало ста лет «цивилизации». Так мне думается в моём возрастном моменте. Хотел написать «в моей старости», но душа воспротивилась, высказала несогласие: стареет тело, это так, но для души мир, как и в годы молодых улыбок, прекрасен ярким солнцем, синим небом, зелёной тайгой, хлеборобным тёплым дождём. И думается ещё, что если отловить землянина даже с трёхсотлетним городским стажем его рода, да отмыть-очистить в холодной таёжной речке, если ещё найдётся такая в доступной близости, то и ему явится при засушливой весне душевное беспокойство. Изначальные опаски древности, стерегущие жизнь, не уходят из человеческой сути. Не зря, стало быть, звенит пословица о бесконечно гибельной, до невозможного пустой сути человека, если ему хоть трава не расти. Дальше — уж некуда. Хотя страшно, чего греха таить, появляются в нашей жизни эти признаки безвременья, если подумать.

Но будет дождь, будет! Быть жизни.

* * *

Всю прошедшую зиму наособицу мечталось о лете. Всю зиму изъедал себе печень непотребными словами, что живал на природе лишь от случая к случаю, что немало ускользнувших, невозвратных лет, которых и так скудно — и то при удаче — побрякивает в человеческой суме, потратил тёплые дни на городские улицы, забитые автомобилями, на пропитанный выхлопными газами воздух, на незнакомое многолюдье.

Всю зиму названивал в Верхоленск — село в верховьях реки Лены — просил поэта Сашу Никифорова подыскать для меня с женой хоть какую, пусть неприятательную халупу, лишь бы с не протекающей крышей и живой печкой. Собирался, в мечтах, приехать на всё лето, приехать до ледохода, увидеть победное торжество весны и отъезд зимы на Север, на попутных льдинах, в заслуженный отпуск.

И получилось. Саша ещё в январе сообщил: изба есть. И дал телефон хозяйки избы. Звони! И позвонил! Правда, если быть честным, позвонила жена Света. Но я этому потворствовал.

И вот... я просыпаюсь, отдёргиваю цветную занавеску ближайшего окошка. Хорошо смотреть в наше окошко. Оно на пригляд так себе, старое, в облупившейся краске, по нынешним временам совсем не ёмкое, но какое-то ласковое и уютное в своих скромных переплётах в отличие от хлынувшей на деревню пластиковой моды, зазывно именуемую европейской, лупоглазую, и, одновременно, бельмастую моду. В проёме прорисована картина из зимних снов, давних мечтаний, из сказок. Совсем рядом, в нескольких десятках метров, тесноватый проулок, короткий, но крутой спуск — и река. Довольно широкая, с двумя, в видимости, картинно выгнутыми излучинами, с прибрежной луговиной, с пасущимся на воле лошадиным табунком. А дальше — выйди во двор и смотри хоть на полудень, да хоть куда смотри — таёжные хребты, опадающие в крутые распадки, порой протискиваясь между стремительной водой и отвесными скалами: не отвлекайся, ездох, держи руль крепче.

Вот уже какой день мы со Светланой утрами смотрим в это окошко, удивляясь увиденному и радуясь, словно и мы приняли участие в сотворении приближающегося лета. «Смотри, на берегу уже нет льда... Смотри как трава-то пошла... А черёмуха-то как цветёт... Господи, у черёмух уже и листочки с детскую ладошку! Когда успели?» и это для нас важные и значимые события.

Но самое отрадное в окошке — река. Великая река Лена. И течёт Лена, однако, со дня сотворения мира. И будет течь и течь, похоже, до самого Судного дня. Мало кто был у её святых истоков, затерянных в таёжных марях близ самого озера-моря Байкала, и совсем мало тех, кто прошёл реку от истока до самого устья и вышел в Студёное море, оледеневшее в полуночной стороне. Так велика река Лена. Взгляни на карту Сибири...

Медленно текут над нею годы и, отражаясь в синей воде, плывут облака, как плыли они и отражались вчера, на прошлой неделе, в прошлом году, в прошлом веке. И допрежь того... И ещё раньше. Когда-то река принимала в свои светлые струи и отправляла в дальний путь дерзкие шитики казачьих ватаг, а со временем и могучие карбаза, наполненные хлебным товаром, чаем, ситцем и сукнами, скобяными изделиями, припасами для огненного боя, питая жизнь далёких российских северов.

А здесь, близ истоков реки, русская жизнь рождала пашенные деревни, местный люд тяжёлым поклонным трудом врзался в тайгу, поднимал кормные уголья. Множил поселения, множил русское племя. Великая река, великого жизненного смысла.

* * *

Ни телевизора, ни радио в избе нет, и я стремительно и неожиданно для себя от этих благ цивилизации отвык. А, если быть точным, то не отвык, скорее всего ощутил в «ящике» запланированную пустопорожность, оловянную тусклость так называемых звёзд, противный, словно резь в животе, юмор экранных смехачей, нередко переходящий в кривляние человека, одержимого бесом. И открылось это мне легко и просто. Хотя надо сказать, что без многолетнего ежедневного утреннего чтения газет я и представить себе жизни не мог, и представлять этого не пытался даже. И телевизору отдавал не меньше двух, а то и больше, часов в суточной толкотне. И это, полагал, было правильным и справедливым.

Ныне все хорошо без телевизора и газет, но в меня вьелся клещ. Дело это при некотором попустительстве не такое уж редкое. А при нужной таёжной одежке, да в паре с надёжным досмотрщиком — крайне редкое. Клещ — насекомое неспешное, уцепившись за «добычу» где-то на небольшой высоте, неспешно ползёт вверх, выискивая проход в одежде к тёплому телу. А проникнув, не вгрызается сразу, ищет кожу потоньше, помягче. А на эти труды время требуется. И если каждые два часа проводить контрольный досмотр, то можно вполне обезопаситься.

Однажды с добрым знатоком тайги Василием, бродя трое суток по берегам стремительной речки, впадающей в Байкал, мы придерживались графика положенного досмотра, и за световой день снимали друг с друга до двадцати клещей. И не допустили ни одного укуса. Но разгильдяйства провидение не прощает. Я знаю два случая среди моих близких знакомых, которые отмахнулись от своевременной проверки «на вшивость», и закончилось это весьма трагично. Главное — не опоздать с определением заражённости клеща опасной... точнее опасными болезнями и вовремя принять в свою кровь нужное живительное зелье. На всё про всё — трое суток. Опоздал... ну тогда... и не сразу узнаешь, по какой тропинке пойдёт твоя судьба, твоя жизнь. Инкубационный период этой заразы довольно продолжительный, и ты почти месяц можешь маяться незнанием, в какой список — чёт или нечёт — тебя уже внесли. Это будет тебя мучить весь положенный срок, каждый день, каждый

час. Я испытал это чувство в полной мере, когда по стечению обстоятельств жил на даче один и через «не хочу» протопил баньку уже в поздний вечер и обнаружил на себе упившегося клеща. Я пал в машину, под ночной занавес собрал по разным аптекам десять ампул нужного мне гаммаглобулина, без угрызений совести разбудил звонком знакомого мне врача и с повышенным удовольствием принял в себя уколы. И, думаю, правильно сделал. Если бы обратился в лабораторию, и это только назавтра утром, отстоял бы очередь таких же страждущих как я, дождался бы результата исследования, ушло бы не меньше полутора суток. А были они у меня?.. Уверен — нет. И стал ждать, стал прикидывать, сколько же дней прошло с тех пор, когда я почти полностью скидывал исподнее, чтобы хоть как-то определить, сколько уже времени сидит во мне судьбоносное насекомое. Подсчёты меня не успокаивали. И так — месяц.

Не лучший месяц в моей жизни. Я думаю, что это состояние, да в вынужденном одиночестве, чем-то похоже на мучительную тревогу человека, приговорённого к «вышке», но подавшего «бумагу» на помилование и каждый час, каждую минуту ожидающего скрежета ключа в замках камеры и объявления высшего решения, в какую сторону ему идти.

Я, быть может, несколько отвлёкся от верхоленских событий, но лишь для лучшего понимания сложившихся обстоятельств. Меня укусил клещ. Сколько их уже было в моей жизни! Но этот жизненный момент походил на случившийся со мной в прошлые годы на даче: вот что-то почёсывалось под мышкой уже какое-то время, а в летние дни в деревне на открытом воздухе есть от чего почесаться, и я не особо беспокоился. Но зуд продолжался, и пришлось позвать на собственный досмотр жену. Приговор был чётко и безжалостен — клещ. Господи, а сколько уже времени я чешусь?

Этот день мы с женой почти полностью провели на реке, на рыбалке, и вернулись в дом лишь к вечеру. Чего и говорить — изрядно устали. Я несколько сник от услышанного и вслух прикинул, что завтра, как можно раньше, едем в Иркутск, в лабораторию, за судьбой. Но жена жёстко сказала: собирайся, едем сейчас же.

А путь неблизкий, триста вёрст. Из них тридцать гравийки, порой с крутыми и кручеными подъёмами-спусками, да и дальше скромный асфальт местами бугрит от совместных усилий крепкого в этих местах мороза и подпочвенных вод. И вести машину Светлане. Мне, на моём восемьдесят пятом году, руль уже не доверяет, кроме мелких хозяйственных поездок. И я молча, подчинённо сел в машине на пассажирское кресло. Как уж Светлане далась эта дорога, я лишь догадываюсь.

Но ни жалоб, ни досады в её словах, в тональности голоса не было. Душа моя наполнилась признательностью к Светлане, более надёжным ощущением бытия, а те серые минуты душевной маяты казались лишь происками лукавого, углядевшего твою слабость.

Так чего это я столь много о клещах? А вот чего: на другой день я сдал своего клеща на судьбоносный анализ и, обложившись свежими и вчерашними газетами, которых мне так не хватало в деревне, купив телевизионную программу и стараясь не думать о ждущих меня результатах анализа, жадно накинудся на чтиво, на просмотр новостей...

А вот этого я ни от себя, ни от «ящика», ни от привычных, не специализированных газет, никак не ожидал: мне не понравились газеты, которых я так жаждал. Вдруг высветилась в газетах нагловатая пустопорожность, способность крутить читателя вокруг да около, избегать серьёзных жизненных проблем, довольству-

ьясь сообщениями, годными прежде к обсуждению на лавочках и у колодца: об авариях, дождях, возможных эпидемиях и прочее подобное. И почему я раньше этого балагана не видел? Да видел, конечно! Но втянулся в чтиво. И в недавние, вчерашние времена я, запряжённый в информационную телегу, не хотел, не мог и дня прожить без газет. А ныне, выходит, свежий таёжный воздух, чистая вода хоть в малой степени, но промыли мои мозги.

Ну и в телеящике та же картина, что и в газетах. Новости — в основном вокруг да около, часто лишь видимость новостей. А юмор «голубого экрана»... Я и раньше его избегал, а тут заставил себя посмотреть эту, другого слова у меня нет, хреновень с закадровым хохотом. В этот раз я рассматривал целую бригаду «юмористов», корчивших физиономии, убого говорящих, выдающих за юмор дурацкие парики, и напяливших штаны с лялочкой, пошитые по давней моде для начинающих ходить младенцев, но ещё не освоивших горшок. Только теперь я понял поступок доброго московского знаконца, крепкого писателя, потребовавшего убрать из его привилегированной больничной палаты не включаемый им телевизор. Сам вид этого ящика, само знание о том, что таится в его бельмастом глазу, мешали борьбе с недугом.

И моя душа хотела других газет, другого телевизора, другой жизни. А что касаемо клеща, Бог миловал...

* * *

Светлое утро набирает силу... Распахивается настужь, с сухим стуком, дверь из сеней, и собака наша Аська, помесь мелкой дворняжки с медным колокольцем, с радостным лаем слетает с крылечка, на рысях осматривает ограду, задерживается у ворот, извещает возможных прохожих о своём вступлении на охрану вверенного ей объекта.

Аська собака совсем не крупная, мелкая даже, чуть посolidнее хорошей кошки, выглядит, на удивление, почти точной копией сибирской лайки: поджарая, хвост крутым кольцом, на крепеньких и пружинистых лапах, с умными весёлыми глазами. Один изъян — ушки. Чуть больше чем положено копии лайки, а левое совсем подкачало — в вершине своей, как бы сломанное, зависает. Удивительно, но эта почти игрушечная по виду собака, выросшая в городской квартире, мгновенно, как тут и была, осваивается и в серьёзном лесу, где мы со Светланой в недавние годы собирали грибы, порой разбредаясь друг от друга на хороший крик. Аська заботилась о нас обоих, всегда неожиданно вывёртывалась из-за ближних деревьев, участливо повизгивая, радостно метеля хвостом, и, уразумев, что всё в порядке, исчезала к Свете, чтобы через малое время снова появиться с проверкой. И нынешний деревенский дом, всю ограду приняла под неусыпную свою защиту.

Я люблю часы раннего утра за свежесть, бодрящую прохладу, ясность далей, душевное равновесие, за новую, неизвестную прежде привычку выбираться из дома раньше раннего часа, дивиться круговому таёжному, в хребтах, окоёму, и приятной прикидке-раздумью о дне грядущем... то ли пойти на ближнюю рыбалку, то ли поехать на дальнюю, то ли заняться дровами... в общем, есть чем заняться.

Под приветственный лай Аськи появилась глянуть на проснувшееся солнце и Светлана.

— А ты знаешь, какой сегодня день? Я не о числе, не о дне недели... — в голосе загадка.

— Хороший день, думаю. Но без дождя.

— Сегодня день поминовения, — сообщает Светлана.

— Эко...

— Не экай! Серьёзный день. Вселенская родительская суббота.

У Светы «смартфон» — так, мне кажется, называется, плоский ящичек с экраном. Ящичек всё знает, даже много больше, чем дюжина краснодипломных выпускников престижнейших университетов. Так что Свете можно верить.

— Хороший человеческий обычай. Добрый и соvestливый.

Да я и сам знаю, что есть в русском Православии дни, увязывающие настоящее и прошлое рода, племени в единый осмысленный жгут. Хотя для многих этот скреп поистончился, а то и порвался напрочь усилиями свалившихся на православный люд погонщиков то во всемирное братство и всеобщее благоденствие в туманном будущем, то в не менее справедливое разделение человеческого потока на кучку богатеев и несытое стадо. И это со святостью собственности даже награбленного по тёмным банковским закоулкам. Ну, а тех, кто зачерствел в житейской маяте без всяких надежд на будущее, полагать просто не вписавшимися в новую правильную жизнь.

...Хорошее прохладное и чистое утро неспешно переливается в ясный день; бодрит настроение растущая кучка напиленных дров, убеждая, что есть ещё в моих пороховницах остатки житейского зелия, не всё оно развеяно ветром времени. Ножовка у меня добрая, с крупным кусачим зубом, и я сам на сторожкое и суеверное удивление довольно легко одолеваю себя, вполне оправданно останавливаюсь на короткий отдых, радуюсь появившейся выносливости. Да что говорить, кругом сплошная тайга, дыши, раб Божий, природным, стало быть живительным воздухом, пей чистую, а не очищенную воду, живи, а не выживай.

Улочка наша, обычно пустынная, тихая, почти нехожая, сегодня чуть оживлённее обычного. Об этом мне сообщает подворотным лаем Аська. Голос у Аьски не ругательный, скорее деловой, вестовой. Вслед за лаем слышу стук в калитку. Аська взвизгивает в крайней опаске, рвёт голос. Кто ж это к нам? Ну да, Анатолий. Предупреждаю мужика поднятой ладонью о короткой задержке, открываю дверцу «Нивы», и многоопытная собака прыжком исчезает в машине. Аська — животина современной цивилизации, машину любит: там ей привычно, как в конуре, и безопасно. И можно сколько угодно лаять.

Анатолий — недалний наш сосед по улице, возрастом за шестьдесят с полновесным гаком, живущий одиноко в старом и столько же одиноком на вид доме с хилой и местами порушенной оградой. Травяная неухоженность, утыканная прошлогодними сухими и унылыми будылями, надёжно скрывает напоминание о давних грядках и другой крестьянской заботе. На ближайшем к дому столбе светоносные провода высоко обрезаны. Но себя Анатолий содержит в аккуратности, я не однажды видел его на реке с большим тазом за стиркой-полосканием белья. Да и так вид его довольно приличный.

Отчества его не ведаю, и фамилию не знаю. При знакомстве он только именем и назвался. Одно известно точно: он рыбак отменный, знающий, умелый, в меру азартен. «Мухи», блёсны у него завидного мастерства, спиннинги добротные. Правда рыба интересуется его, мне кажется, прежде всего как надёжное в ближайший момент обеспечение известного на Руси покупного страдания. И аз многогрешный и многоопытный с большой долей уверенности видит, что и одиночество Анатолия имеет корни в этом самом страдании.

Но повторюсь: рыбак он отменный. Реку он, безлошадный, пешим ходом из-

учил на немалые километры что вниз, что вверх по течению, и знает её словно внимательная хозяйка свой дом. В этом я убедился, мы с ним под водительством Светы и охраной Аськи уже несколько раз выезжали на «Ниве» рыбачить. Но общего разговора ни разу не находили.

Анатолий сдержанно здоровается и тут же, чтобы понятен был его визит, то-ропливо сообщает:

— День поминовения сегодня...

Я согласно киваю головой.

— На кладбище не пойду... Родни тут нет... А помянуть надо. День такой. Может вместе?... Я бы в магазин сбегал...

В своём многолетии я стал избегать «застольных» общений с людьми, не укрепившимися в моей жизни, да и сами застолья крепко усохли, я, похоже, неосознанно стал беречь остатки сил для большей осмысленности даже случайных бесед. А тут день поминовения.

— Святое дело, — соглашаюсь я.

Есть кого помянуть, есть. И не только родню свою, друзей-приятелей своих, да и саму прошлую жизнь помянуть, вдруг осыпавшуюся и истоптанную. Племя наше таково, так судьба его складывается, что время от времени, дабы остаться в седле, приносится жертва кровью. По-другому не получается. Чтобы истово помянуть дороги племени, не хватит ни водки, ни здоровья печени. Но, как можем, помянем. Наш обычай.

Со Светланой и Анатолием угнездились мы за уютным кухонным столом, распахнули створки окна в дневную свежесть. За окном — голубое небо и громадней, в расцвете силы куст черёмухи. И так...

* * *

— Ну, так с чего начнём? — спросил я, скорее всего, сам себя.

Не простое это дело, оказывается, серьёзно вспоминать прошлое в случайном застолье. Тут, скорее всего, общие годы за спиной надо иметь. Вот тогда... Воспоминания хлынут, как молодое коровье стадо в узкие ворота загона, толкаясь и не признавая очерёдности.

— Может, за Верхоленск выпьем?

— Так как за Верхоленск? Живой ведь он.

— Живой, само собой. А мы за старый Верхоленск примем. Богатая у него история... Городом даже назывался. Сам губернатор Муравьёв-Амурский городом велел его именовать.

Анатолий мужик вроде покладистый, легко согласился. Да и не стоять же рюмкам полными.

...Сколько уже дней я смотрю в это окно, смотрю на крутые изгибы входящей в молодую жизнь красавицы реки, несущей чистые воды к хладному океану, вижу таёжные хребты, синие, в белых барашках весёлых облаков, высокое небо, широкую пойменную землю, пригодную для сытого хлебопашества и богатого прокорма животины. Хорошие места выбрали наши землепроходцы. И русская жизнь в этих прохладных, но кормных местах начала набирать силу четыреста, без малого, лет назад. Бревенчатый острог, ошетинившийся пищалами да копыями, деревушка, деревня, село с красавицей церковью. И даже город Верхоленск, но пока лишь волею самого генерал-губернатора. А по сути просто крепкое поселение умелых крестьян и знатоков водных дорог к полуночному океан-морю.

Как тяжкую болезнь перенесло село в своё время раскулачивание, войны, где выбило немало сибирского народу, но, словно сказочная птица, село возродилось из бед и пожара, из пепла. Видно были ещё духовные силы у народа, чтобы продолжить жить, немалыми потугами возрождать-поднимать землю, крепить Отчизну.

В местной библиотеке хранятся записи директора совхоза А.И. Шапова, датированные кануном очередной, кому-то нужной и беспощадной, ломки Отечества, естественно, несущей счастье трудовому народу, но названной народом грабительской, бандитской. Так вот, в 1990 году в совхозе «Верхоленский» было 63 трактора, 25 зерновых комбайнов, 45 (целый парк!) автомобилей, большое стадо молочного скота. Да и в личных хозяйствах держалось 907 голов крупного рогатого скота, чуть ли не тысячное стадо.

А что осталось? Вопрос для наших восхитителей новой жизни неприемлемый, отдаёт «совковостью» и отсутствием толерантности и свободы. Да, ничего не осталось, как в песне: «ничего не осталось, только грусть да печаль». Мне, бывшему газетчику, да и просто любителю ближних и дальних дорог, тяжело видеть белые просторные остовы бывших коровников, заросшие хлебные поля, унылость и крайнюю безработицу деревень. Я не для того пишу, чтобы показать, как живёт деревня, я хочу только лишь спросить — зная, что не дождусь ответа, — как это случилось, зачем это случилось? Ведь не просто же так, что народу вновь захотелось поголодать, почувствовать жизненную безнадёгу, упасть и опохмелиться. Значит, кто-то сильный, хищноумный, подмял под себя народную жизнь.

...Ехали мы со Светой в деревню с большой радостью и большой надеждой на здоровую жизнь, на полезный прокорм: у свободного теперь крестьянства всё можно купить чуть ли не с грядки, молоко свежайшего удоя, молоко без «нормализации» жирности, без консервантов, без... Хватит и этого.

Но... Вот без этого «но» в современной деревне видимо никак не обойтись. У наших соседей по улице справа нет коровёнок. И дальше кормилиц тоже нет. Слева... Не сразу, а через дом, уходит утрами на вольный, самостийный выпас славанное рогатое существо с нынешним теленком и прошлогодним подростком. Я было настроился на экономические переговоры с «двоюродным» соседом, и собрался было уже на следующее утро, и вышел даже в улицу, но увидел у заветных ворот очкастого мужичка с велосипедом и бидончиком в руке, терпеливо сидящего на лавочке, и повернул в свой дом, пить чай с консервированным молоком, прихваченным ещё из города.

Наши новые и старые знакомцы прониклись нашей заботой, успокаивали: да найдём мы молоко, договоримся. Но время шло, а молока не было. Понять это было трудно, как полуфантастический сон. А я помнил: в шахтёрском посёлке моего детства в послевоенные годы было большое коровье стадо. В шахтёрском посёлке! Помню ранние утра, спокойное и важное течение стада, щёлканье ременного кнута, звуки пастушьего рожка.

Мы и сами решили попромышлять вокруг села по маленьким полупогибшим деревушкам, где ещё шевелилась — должна бы шевелиться — крестьянская жизнь. Сели на колёса, покатали. В деревушке, в стороне от тракта — не буду называть её имени — прилепившейся к самому берегу Лены, в окружении пойменных лугов, узнали, всего одна корова. И ещё в деревне есть несколько домов, где угнездились только дачники. Интересоваться молоком мы там не стали.

Покатали в другую деревушку, ниже Верхоленска по течению... остановились у жилого дома. На зов вышел мужичок, поддатый, улыбочивый, дружески протянул

руку для приветствия. От вопроса о молоке поскуцнел: не главным для него делом интересуются приезжие.

— Какое молоко? Не по адресу.

Уже в городе, когда писал эти большие строчки, включил телевизор послушать вести и встрепенулся, увидев нашего чуть ли не вечного, но сегодня уже бывшего, премьера, начальствующего над всеми министрами страны. Подтянутый и важный, он озвучил свою новую мысль: сельский житель достоин тех же удобств, коими обладает горожанин. Достойная мысль. Хорошая мысль. Но она сейчас, в данной ситуации, близка идее Марии-Антуанетты, французской сердобольной дамочки времён Людовиков, что обессмертила своё имя высказыванием. Узнав, что крестьянам не хватает хлеба, заботливо удивилась крестьянскому недалёкому уму, и посоветовала: если нет хлеба, то вполне можно обойтись и пирожными. Можно. Но французская Машенька не учла, что если много есть сладкого, то можно заработать сахарный диабет.

Во многих деревнях просто-напросто теперь нет работы. Некуда приложить трудовые руки. В некогда славном Верхоленске с этим делом, как говорится, шаром покати. А ведь ещё недавно был в селе весьма состоятельный совхоз. И работы было выше крыши. Но вот произошла очередная революция ради счастья народного, и народ, не сумев переварить свалившихся на него сияющих благ, начал вымирать. Много счастья тоже вредно.

Один мой добрый знакомый, уроженец Верхоленья, в семидесятых годах жил и учился в этом селе. Было у них в школе два полноценных десятых класса. Не всякая, даже пригородная, школа могла этим похвастаться. В нынешнем году аттестат зрелости получили — внимание, это голимая правда — всего два — два! — выпускника. Такие же перспективы и на следующий год.

Божий народ из разорённой деревни бежит в поисках работы, а по главному счёту — пропитания и хоть какого-то будущего для своих детей. А ведь город тоже никого не ждёт. Худо с работой и в городе, худо с жильём для молодых, худо с бесплатным ещё вчера, серьёзным образованием.

Надо быть правдивым: молоко мы всё-таки нашли. Запомнил, как это случилось, — главный добытчик всё-таки жена — но на исходе второй недели Светлана познакомилась с молодым славным семейством, поставившим во главу своего успеха занятие животноводством. Но это, так сказать, частный случай.

* * *

Рыбак Анатолий, волей случая ставший мне добрым помощником в поминальном деле, молодой ещё рядом со мной, чуть утомился медленным ходом застолья, «вспомнил» о своём более подходящем приятеле, попрощался и побежал «догонять», к общему пониманию, своё дело. За столом мы вдвоём с трезвенницей Светланой.

От Верхоленска до Качуга, районного центра и выхода на Иркутск, тридцать километров. От Верхоленска до Жигалово, глядящего на Севера, чуть больше сотни. Для села это дорога жизни — узкая лента каменишника, выбоин, вспученности грунта утайливыми подземными водами, крутых и смиренных подъёмов-спусков, но и наполненных сказочной, истинно сибирской, вольной таёжной красотой. Порою дорога, вырвавшись сквозь чащобу — я те дам! — на открытый ветрам и глазу взлобок, неудержимо всколыхнёт душу увиденной красотой изначального мира: высокие, крутобокие хребты в могучей зелёной поросли; вольная, в сол-

нечных блесках, в смородиновых островах, в опушке прибрежных тальников, не измученная цивилизацией красавица река. Проснётся и восхитится увиденным самая усталая и захламлённая душа.

А спустишься в низину, где река и хребты уступают богатым разнотравьем лугам, полыхающим по весенне-летней благодати живыми огнями сибирских жарков, и невольно снова выдохнешь: Господи, красота-то какая.

Дорога, вернее река, местами льнущая к самым колёсам, полна и рыбачьих соблазнов. Мнится: вот бы остановить машину, снять притороченный к съёмному багажнику спиннинг, метнуть уловистую блесну в чистые быстрые воды на самую грань отбойничка, и тотчас почувствуешь всей своей сутью пронизывающий толчок стремительного красавца ленка. Но в таких сулящих фарт местах чаще всего нельзя остановиться — узкая дорога притирается чуть ли не вплотную к воде, а с другого боку реку теснит ошетилившийся тайгой неподъёмный крутяк, а то и отвесный скальник, готовый — так мнится в тревоге — рухнуть еле удерживаемой на усталых вековых плечах, в морщинах-трещинах, многотонной каменной осыпью. Не остановишься здесь. Хозяин, дух этого урочища, хоть и терпелив, но может и разгневаться. Его совет, поглядывающего на путника со скальника, вполне понятен: проезжай, голубчик, не задерживайся.

Много раз за лето ездил я этой дорогой в поисках рыбачьих мест, и душа всегда наполнилась красотой дороги, и даже не повсеместная её объезженность не тяготила, а порой и подбадривала: мы и на девятом десятке человеческой жизни, слава Богу, ещё что-то можем, была бы «Нива» в порядке, крутились бы у неё колёса. Но ближе к осени крестьянские гены, живущие в нас, гены, единящие с природой и самой сутью жизни, зашевелились в тревоге: иные луга, пусть и немногие, радовавшие глаз по весне, остались не выкошенными. И это в местах, где тайга не шибко позволяет барствовать с покосами. Стал быть не нужны они стали. Некрасов Николай Алексеевич опять же припоминается со своими не очень радостными виршами: «Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она». Заболел мужичок у Некрасова. И у нас заболел. Только не один мужичок, а племя русское охвачено недугом, полыхнувшим аж из самой столицы нашей белокаменной, оставив здоровенькими, даже очень здоровенькими, лишь малый круг «гомо сапиенс», да тех, кто держит над ним охранные и веселящие опахала.

И ещё немного о грустном. И не полностью материальном. Что Качуг, что Жигалово — районные центры. Но автомобилей на этой единственной между ними дороге не так уж и много. И тут можно вспомнить мою бабушку из казачьей Даурии, оставшуюся молодой вдовой в канун революции с шестью детьми мал мала меньше, безмерно познававшую нужду. Она говорила, зажигая керосиновую лампу: «Карасин-то ноне в сапожках ходит». По младости лет я не понимал бабушку: как это керосин в сапожках ходит? Пришло затем и понимание этой крестьянской образности и великих возможностей истинно русского языка. Дорог керосин, только богатым подъёмом, тем, кто может себе позволить гордые хромовые сапожки. А тот, кто обходится самодельными чирками да ичигами, и звенит в кармане лишь мелкой медью, не взыщи, паря, довольствуйся светцем, то есть лучиной. «Догорай, гори, моя лучина...» — не забылась жалостливая песенка? А где можно заработать деньгу в деревне? В том же некогда гордом Верхоленске? Так что какие тебе сапожки? Только кирзачи, по житейскому смыслу прямые заменители ичигов. И то почешешь «репу» под шапкой перед тем, как потратиться на них. Так что и с «карасином» для машины в новой деревенской жизни «проблема».

Ну а теперь ещё стоит рассказать о ложке дёгтя в красивейшем бочонке меда: я про дорогу Качуг — Жигалово. Да и как без неё, без этой ложки, обойтись в описании нашего времени, оживившего и доведшего латинскую фразу «гомо гомини люпус эст» до всенародной известности, и теперь уже почти не требующего перевода: человек человеку волк.

Беда этой дороги — пыль. Она клубами бьёт из-под колёс излишне спешащей машины и непроглядно застит всё вокруг, долго висит в воздухе. Даже дождь прибывает её ненадолго. Скатится вода по каменишникам, стяхнут воду быстрее быстрого подъёма и спуски, солнце и ветер играючи справятся с остатней влагой, и снова пыль клубом бьёт из-под копыт железных коней. Резвее кони — больше пыли. Одна радость — мало машин на трассе. И в умении водителей сдерживать эмоции и скорость машин.

Есть и такая пословица у нашего народа: «Каковы сами — таковы и сани». Хорошая пословица. В ней не только о хозяине и его санях-автомобиле, пообъёмнее она. Вот сломалась держава, рухнула и власть, а значит и деньги ухватила так называемая элита, в большинстве своём не обременённая заботами о ближнем, о соотечественнике. Да и как «совки» могут считаться согражданами, если у нуворишей всё — капиталы многопудовые, неизвестно как на них свалившиеся, палаты белокаменные, семьи давно за «бугром», на берегах чужих океан-морей. А народ-народец остатний — хотя какой «остатний»? — почти весь тут, на месте, дышит с ними одним, пока они не уехали, моральным воздухом, льющимся из распахнутых телевизоров, со страниц газет, из широких дверей задумчивой Думы.

Главная теперь жизнеутверждающая установка — быть впереди. Во всём. По-другому никак. Так и на дороге. Вот привычная картина во всей её убогости... Катится машина по трассе, катится с приемлемой скоростью, разумно учитывая все её, так скажем, особенности. Появляется догоняющая машина: одиночество на дороге кончилось, попутчик, по всему видно, пойдёт на обгон. Выхода у впереди идущего два: понужнуть своих машинных лошадей и, не жалея в машине всего, что может брэнчать, а то и сломаться, рвануть что есть силы вперед, или принять судьбу. Принял. С грохотом, надсадой пролетает вперёд успешный гонщик, а не успевший бьёт по тормозам. Другого выхода нет. Пыль столь непроницаема, что в метре перед капотом глухая непроглядность; задрай стёкла, не оставь и малой щели. Стой и жди. Никуда не спеши. Иначе, как говорят знающие люди, намучишься пыль глотать. Да и «кобыла», обогнавшая тебя, нередко стара, израсходовала на ненужную резвость остатний запас сил, и теперь «усталая, но довольная» дребезжит в недалекой видимости. Дай ей возможность уйти подальше, утащить за собой удушливый хвост.

Ну и как с этим бороться? Мы ж привыкли к этому — бороться с чем-либо или кем-либо. А бороться не надобно. Просто остаться человеком, не давить пылью попутчика, не обгонять без нужды, подарить упущенные при упущенном обгоне минуты попутчику, своей машине, своей порядочности, своей человечности. И свою суть не измерять примитивным, порой лишь кажущимся личным успехом, как теперь внедряется в сознание всех этих «успешных» деньгами.

Но ведь так надо, чтобы клубящаяся на наших дорогах всякая пыль осела.

Отче наш, Иже еси на небесех... не оставь, Господи, в заботах своих веси наши, ибо без крепости народной, без связи с землей, без деревни не стоять и Руси. И избави нас от лукавого.